



ЕЛЕНА КРЮКОВА

РЕКВИЕМ

Елена Крюкова

Реквием

«Издательские решения»

Крюкова Е. Н.

Реквием / Е. Н. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-837169-1

Елена Крюкова дает новую судьбу древним книгам и древней символике, то крепкими, то изящными мазками вписывая ее в грубую, простую, узнаваемую ткань нашей жизни. В «Реквиеме для отца» она воскрешает отца-художника с его картинами, в «Русском Евангелии» и «Книге Исхода» возвращает нас к первозданной красоте и силе мощных библейских образов.

ISBN 978-5-44-837169-1

© Крюкова Е. Н.
© Издательские решения

Содержание

Requiem aeternam	6
КНИГА ИСХОДА	18
Бег	18
Юдифь и Олоферн	20
Норд-Ост	22
Мать Мария	24
Варьете	26
Встреча Марии с Елизаветой	28
Анкор, еще анкор!..	30
Юродивая	32
«Лягу на пузо. Землю целую...»	32
«...Эй-эй, пацан лохматенький...»	32
«Вижу Ночь. Лед...»	33
«Чучелко мое смоляное, любименький, жавороночек...»	34
«...Лоб мой чистый...»	34
Дух белого офицера взирает на Россию нынешнюю	36
Девочка с мандарином. Вечерний рынок	39
Торговка шкурами на Иркутском рынке Люба	40
Песня	41
Адам и Ева	43
Омулевая рыбачка Зинаида	44
Витрина	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Реквием

Елена Крюкова

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7169-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Елена Крюкова в книге стихотворений «Реквием» представляет читателю три большие поэтические композиции.

В «Книге Исхода» акцент сделан на вариации библейских образов. Ветхий Завет явлен и в названии, и в героях, что идут сквозь современность в одеяниях Юдифи и царя Саула, царицы Астис и царя Артаксеркса, старика Ноя, выпускающего из ковчега на землю зверей и птиц, и жены Лота. Крюкова дает новую судьбу древним книгам и древней символике, то крепкими, то изящными мазками вписывая ее в грубую, простую, узнаваемую ткань нашей жизни.

«Реквием для отца среди ненаписанных картин» – книга одновременно и биографичная, и вневременная. Отец автора, живописец, не все картины успел написать на земле; дочь пишет их за него – ее руками и ее сердцем художник Николай Крюков в «Реквиеме...» воссоздает то, о чем мечтал при жизни. Но дочь параллельно рождает и то, что хочет высказать она сама: так создается уникальный по силе творческий ансамбль Ушедшего и Живущей.

И «Русское Евангелие» словно тоже вышло из-под призрачной, уже легендарной кисти ее отца. Здесь Крюковой удалось воспользоваться старым приемом мастеров Возрождения: она храбро переносит все евангельские темы и сюжеты в зимнюю Россию, и Христос у нее идет по байкальской воде, и ловит с апостолами омуля, и влачит крест по снегу к ледяному озеру...

Так мифология, питая поэзию, становится нынешней, насущной, близкой.

Requiem aeternam

При слове «реквием» обычно представляют себе печальную заупокойную службу; в ушах звучит Моцарт или Верди, преобладающее настроение – скорбь, печаль, тяжкое раздумье о неизбежности ухода.

Но так же, как в символике Страшного Суда вдруг проглядывает странный праздник (вспомним «жену, облеченную в Солнце», на голове которой венец из двенадцати звезд, намек на новую землю и новое небо и многое другое, что говорит нам не только о катастрофе, но и о радости новой жизни...), так и в книге Елены Крюковой «Реквием» за спиной скорбного события всегда стоит очень сильная, яркая, и, не побоюсь сказать, уникальная радость бытия.

«Реквием» построен по принципу арочной конструкции: сначала «Книга Исхода» – и здесь перед нами проходит вереница ветхозаветных образов, нанизанных на веретено нынешнего дня, на тонкую нервную нить современности, – потом «Реквием для отца среди ненаписанных картин», где дочь рисует за умершего отца-художника картины, что он не успел нарисовать при жизни, – и, наконец, «Русское Евангелие», замыкающее новозаветными ассоциациями образную и философскую полноту всех трех композиций.

* * *

Нельзя понимать работу поэта так: берется какой-либо ветхозаветный персонаж и описывается возможно более подробно – красочно, увлекательно. Это было бы слишком просто. Любой небанальный авторский ход должен быть оправдан высоким чувством.

Крюковская «Книга Исхода» ориентирована на эту высокую патетику и одновременно обращена к приметам бедного родного быта.

Юдифь, желая отсечь голову Олоферну, на самом деле идет по ночной русской столице, входит в покои владыки и заносит свой карающий меч, и он не только библейский, но и настоящий, – а возможно, и будущий. Никто еще на земле не отменял месть, никто не отменял войну и вражду, и никто не отменял убийство убийцы.

Все вечно под Луной, да и сама Луна тоже вечна.

Вечна и праздничная ель, что мотается на городской площади под холодным ветром, и вокруг нее ходят люди – они совсем не библейские, они наши, русские, узнаваемые, и автор играючи стирает грани и границы:

*Машет ель руками черными.
На мулаточке игрушки – сладкими клубниками.
А ветра по площади просторные
Машут флагами над сморщенными ликами.
Машут флагами – еще багряными!
Отрывают жесть со крыши серебряных!..
А пойдут из магазина пьяные —
Выдохнут: «А ель-то... как царица...»
И заплачут пьяные, и выпьют из-за пазухи,
И засунут снова под тулуп питье горячее:
Их сынки – в земле сырой. Им – праздник памяти!
Очи радугою слез горят, незрячие...*

Пустынная Иудея? Выжженные дороги Палестины? Да нет же, это наши родные города: Москва, Питер, Нижний, – и мы потрясенно глядимся в эти библейские зеркала, узнавая самих себя.

На пронизывающем ветру, имя ему Норд-Ост, стоит лирическая героиня, а через секунду она уже видит перед собою монахиню, мать Марию – живой символ помощи и заботы посреди разрухи и горя. Библия творится здесь и сейчас, днесь и с нами. И голос матери Марии доносится словно ниоткуда, однако он ясен и чист, и все слова, порядком подзабытые в мире наживы и царства мамоны, сейчас можно разобрать:

*...Я в небесах проживаю теперь.
Но, коли худо, —
Мне отворяется царская дверь
Света и чуда,
И я схожу во казарму, в тюрьму,
Во плащ-палатку,
Чтоб от любви, вперяясь во тьму,
Плакали сладко,
Чтобы, шепча: «Боже, грешных прости!..» —
Нежностью чтобы пронзаясь до кости,
Хлеб и монету
Бедным совали из потной горсти,
Горбясь по свету.*

И вот среди ветхозаветного знаменитого, вековечного народа, народа фресок и сказаний – царя Давида, Юдифи, Олоферна, Ноя – появляются другие люди. Они – наши с вами современники. Она словно бы выплывают из довременной тьмы и постепенно населяют эту книгу. Их становится все больше, их полку прибывает. Мальчик с собакой. Девочка с мандарином. Плясуньи ресторанного варьете. Старый офицер-афганец. Юродивая – почти как у Тарковского в «Андрее Рублеве», то весело хохочущая и приплясывающая на морозе, то глядящая молчаливо, то поющая торжественную песню – своеобразный гимн жизни посреди не древней, а самой что ни на есть настоящей войны:

*...Заночую во сугробе
Закручу любовь во рву!
В колыбели – и во гробе —
Я – войну – переживу.*

И, космата, под вагоном

Продавая плоть свою,

*Крикну мертвым миллионам:
Дураки! я вас люблю...*

Вы себя поубивали...

Перегрызли... пережгли...

Как кричала – не слышали! —

Я – о бешеной любви!..

*Но и в самой язве боли,
В передсмертнейшем хмелю,
Я хриплю: услышь мя... что ли...
Кто живой... тебя – люблю...*

Вот вам еще одна загадка, вернее, еще одна образная находка Крюковой. Она обращается к жанру, в современной литературе начисто утраченному – к жанру *видения*.

Именно в Библии видение укореняется как жанр; это и видение пророка Иезекииля, и видение пророка Исаяи, и видение пророка Даниила, да и сам Апокалипсис, величайшая поэма древнего мира, есть не что иное, как видение Иоанна Богослова. В «Книгу Исхода» Крюкова там и сям вплетает такие видения. «Видение жены, стоящей за куском хлеба», «Видение праздника. Старая Россия», «Видение Рая» – проходящие перед мысленным взором человека картины, то захлестывающие мощью забытого русского праздника, то напрямую изображающие небожителей (таков Ангел с красным мечом в «Видении жены...»), то погружающие читателя в благолепие Эдема, и тем страшнее и безвыходнее в финале «Видения Рая» звучат суровые, царапающие металлом слова, изображающие нынешнее горе и нынешний житейский мрак:

*...Там папоротник светит на стекле —
В мороз – цветком купальской радуги!..*

*Уйди.
Я Рай люблю. Я сплю с ним на груди.
Не суй во пересохише уста
Мне надобий, где соль и кислота.
Не хлопочи – с намоченным тряпьем
К виску. Мы все когда-нибудь умрем.
Я не хочу в подвальную юдаль.
В битье посуды. В водочную боль.
В больницы, где на лестницах лежат.
В плакатный красный яд и детский мат.
Уйди. Ступай обратно в черный Ад.
А я – в Раю. Мне нет пути назад.*

Большое стихотворение (или маленькая поэма) «Орган» – несомненно, центр тяжести всего цикла. Крюкова, музыкант, сумела перелить в слово библейскую мощь органной музыки, искусно переплетая ее со своим личным, женским, интимным пространством. В этом тексте она движется по тонкой грани, нигде не оскальзываясь ни в серую робость, ни в пошлую наглость. Серебряные органные трубы, что гудят от создаваемой человеком музыки, – вполне демиургический инструмент, и человек здесь, даром что создан по образу и подобию Божию, приравнен к Богу в счастье любить и рождать:

*Я чувствовала холод звездных дыр.
Бредовая затея святотатца —
Сыграть любовь. И старая, как мир —
И суетно, и несподручно братьяся.
Я вырывала скользкие штифты.*

*Я мукой музыки, светясь и мучась,
Вдруг обняла тебя, и то был ты,
Не дух, но плоть,
не случай был, но участь!
И чтоб слышней был этот крик любви,
Я ость ее, и кость ее, и пламя
Вгоняла в зубы-клавиши: живи
Регистром vox humana между нами!*

В «Книге Исхода» есть стихи, которые выглядят настоящей сказкой («Видение жены на космической станции», «Царица Астис», «Фавор»), но их фантастичность – лишь маленькая передышка, и мы опять ныряем в подлинность ситуаций. Так автор подчеркивает, что все на свете когда-то было, и мы такие же персонажи Библии, как Руфь и Вооз, Иаков и Рахиль, Давид и Соломон.

И, когда на горизонте маячит последнее стихотворение – «Видение войска на небе», уже не удивляешься этому возрожденному поэтом мистическому жанру: предчувствие войны сжимает сердце небывалой болью. Все есть реприза, и войны повторяются тоже, – и быстротечность жизни, печально осознанная лирической героиней, подчеркнута наивно и жестоко:

*И мы с тобою стоим под пулями в красном объятии, —
Любимый, а жизнь-то наша, зри: и объятие, и Распятие.*

* * *

Мы вступаем в область, абсолютно не исследованную поэзией прошлых времен: в помещение двух творческих ипостасей – умершего художника и его живой дочери.

Никто не поручится, что дочь знала все неосуществленные замыслы отца и сумела их воплотить (живопись – в стихах, замыслы одного искусства – в другом). Никто не может утверждать и обратное.

Кто лучше дочери знал все мысли, все задумки родного человека?

Во всяком случае, никто более, чем она, не имел право на это действие, или, по-древнему сказать, деяние – написать за ушедшего в мир иной отца его картины.

И здесь снова случается парадокс. Понятно, что это не масляная живопись умершего художника Николая Крюкова, и даже при самом плотном приближении к замыслу одного человека другому человеку никогда не передать его доподлинно и досконально.

Сожженная кислотой маньяка Рембрандтова «Даная» отреставрирована чужими руками, очень умелыми, мастерскими, но это никак не Рембрандт.

И в «Реквиеме...» это не картины Николая – это стихи его дочери Елены, и мы все равно воспринимаем их как креативные, оригинальные, как плод индивидуального авторского труда.

Как бы там ни было, эта нравственная преамбула, надеюсь, даст читателю понять, что во многом эта классическая (по рифме, стилистике, сюжетике...) книга – дерзкий авторский эксперимент. Этот эксперимент столь же поэтичен, сколь и реалистичен. Его фундамент – пережитое, на деле испытанное. Не только одним человеком, но целым народом. Из строк, со страниц встает не только сама жизнь Николая – вот он моряк, подстреливший на палубе военного сторожевика, застрявшего во льдах, белую медведицу, вот он копирует старых мастеров в Эрмитаже, а выйдя на улицу, падает от голода, и его до своего сырого подвала еле довлакивает мимохожая цыганка; а вот он, вместе с натурщиком в тельняшке, пьет в мастерской водку и закусывает луком, – но в большой мере встает эпоха.

Время, которое нынче изрядно оболгали, на самом деле было, как всегда, страдальным, как всегда, праздничным, и, как всегда, героическим. Только в этом времени было еще нечто, придающее ему особую цену: его люди ценили смелость, чистоту и честность и сами стремились быть смелыми, чистыми и честными.

Крюкова умеет писать плотно и пастозно, как хороший живописец, нагруженно и фактурно. Умеет касаться образа и темы нежной акварельной кистью. Ей удаются и суровые словесные формулы, внутри которых скрыто горе времени:

*Нет для писания войны
Ни масла, ни глотка, ни крошки...
По дегтю северной волны —
Баржа с прогнившею картошкой.*

*Клепнями уцепив иштурвал,
Следя огни на стылой суше,
Отец не плакал — он давал
Слезам затечь обратно в душу.*

Можно представить себе, что художник Крюков мог задумать холсты «Медведица на льдине» или «Цыганка Ольга. 1947 год», но «Кутеж. Художники», несомненно, подсмотрен самой дочерью и написан ею с натуры:

...Первобытной лунной тягой,

*грязью вырванных корней
Мы писать на красных флагах*

будем лики наших дней!

По углам сияют мьши

*вологодским серебром...
Ничего, что пьяно дышим.*

Не дальтоники. Не врем.

Дай бутылку!.. Это ж чудо...

*Слабаку — не по плечу...
Так я чохом и простуду, и забвение лечу.*

*Стукнувшись слепыми лбами,
лики обмакнув в вино,
Мы приложимся губами*

к той холстине, где — темно...

И пройдет по сцене жженой —

*где вокзал и где барак —
Упоенно, напряженно —*

вольной страсти тайный знак!

Ну же, Костя, где гитара?!..

*Пой — и все грехи прощай!..
Этот холст, безумно старьей,*

мастихином не счищай...

Художник наблюдает северное сияние, идет — с женой и тещей — крестить в «запрещенную» церковь ребенка, бежит по зимней улице с зажженной паклей на голове, попадает в сумасшедший дом, празднует Новый год, любясь наряженной елкой, — а люди растекаются, рассасываются, утекают из-за стола, растворяются в дымке времен, — исчезают. И только крик дочери, полный боли по уходящим, быть может, достигает его, уже нездешнего:

*Ох, Господи!..
Да сколько их —
Под этой елкою смолистой —
Веселых, старых, молодых,
В кораллах, янтарях, монистах,
В стекляшках, коим грош цена,
В заляпанных вином рубахах —
Ох, Господи, да жизнь — одна,
И несть ни бремени, ни страха...
Куда вы, гости?! О, не все
Принесено из грязной кухни!..
И чье заплакано лицо,
И чьи глаза уже потухли?!.. <...>
Глядите, — я сама пекла...
А я и печь-то — не умею...
Куда же вы — из-за стола?!
Лечу наперерез, немею,
Хватаю за руки, ору:
Еще и третий чай не пили!..
...Крыльцо. Под шубой на ветру:
Мы были. Были. Были. Были.*

Музыка «Реквиема...» катится к концу, становясь все более напряженной, стремительной и трагической перед осознанием смерти, перед ее зимним, бесстрастным ликом. И вот уже в последнем фрагменте перед нами остается только одинокий голос — живой «голос с небес», голос мертвого отца, что говорит с дочерью, лаская ее, наставляя, обнимая всеми звездами и метелями и за что-то невысказанное, тайное прося у нее прощения:

*...Прости, прости же, дочь. Ты положила
Туда — с собой — бутылку да икону...
И вот лечу, лечу по небосклону*

И плачу надо всем, что раньше было.

*И больше до тебя не достучаться.
А лишь когда бредешь дорогой зимней
В дубленочке, вовек неизносимой, —
Метелью пьяной близ тебя качаться.*

*<...> О дочь моя! Да ты и не святая.
Клади кирпич. Накладывай замазку.
Пуškai, немой, я над землей летаю —
А ты — мои голосовые связки...*

Контрасты стилистики в «Реквиеме...» впечатляют: в «Видении пророка Иезекииля» строй речи почти библейский, объемно-торжественный, колокольно-церковнославянский, а в диалоге художника и горбуна у церкви в Вологде все уличные, мужицкие просторечия звучат оправданно и на редкость «вкусно».

Но все ухищрения стиля, интонации, колористики в «Реквиеме...» ничего не стоят перед главной идеей, перед его сверхзадачей, решенной Крюковой высоко, печально и просто: она, поэт, в этой вещи явилась «живой кистью» ушедшего мастера, сама исполнила роль холста и мольберта, на котором хромосомами и генами, всем горящим генофондом написала, быть может, самую пронзительную из всех своих поэтических книг.

* * *

И вот перед нами последнее произведение книги – «Русское Евангелие».

Есть ли у «Русского Евангелия» корни, прецеденты, культурная родня? Наверняка есть. Вспоминаются кадры из «Андрея Рублева» Андрея Тарковского, когда плачущий мужик тянет на себе крест, еле волоча ноги по заснеженному берегу зимнего озера. Он вязнет в снегу, а люди плачут вокруг, бабы утираются платками, – налицо русское распятие, каких на Руси, в России было не счесть за последние, так скажем, тысячу лет. Вспоминается Борис Пастернак с его метельным «Рождеством», и такой же зимний, снежный «рождественский» Иосиф Бродский. Не они первые переносили евангельских героев в снега и вьюги родной северной страны: еще у Брейгеля «Поклонение волхвов в снегопаде», вифлеемское «Избиение младенцев» переселяют нас в зимнюю Голландию с ее ледяными каналами и медленным, мягким снегом с туманных небес.

Так издавна поступали все мастера, работающие с изобразительным рядом: брали миф и храбро пересаживали его на родную почву.

То же самое делает и Крюкова.

Она делает это разнообразно: то утонченно, то мощно и густо, то порывисто и безоглядно (и тогда стиховая ткань напоминает движение ветра), то тихо и сдержанно, повторяя плавное течение баховских хоралов. Ей неважно, какой величины стих, изображающий то или иное евангельское событие: длинный или короткий, крупный или миниатюрный. Разнообразие форм предполагает разнообразие ритмики. И это так и есть.

Но вопрос формы здесь для Крюковой неважен. Ей важно само это, обозначенное в названии, «переселение» не только душ, но и тел из пространства Евангелия в зимнюю, да еще нынешнюю Россию. Рождество и Поклонение волхвов, Сретение и Крещение, и дальше – по той цепочке символов и сюжетов, что все культурное человечество знает наизусть, разворачивается эта евангельская русская зима – да, большей частью зима, ибо чем подчеркнуть русскость, суровую северность земли, где это Вечное опять происходит, сбывается?

*...Да, Господи Боже, досталось родиться
Вот именно здесь, в оголтелой земле,
Где в трубах метро преисподние лица
Летят, как снега по дегтярной зиме!
Да, мальчик, сынок, пей до дна эту чашу —
Такую нигде уже не поднесут:
Последний приют заметен и страшен,
И ученики – от Креста не спасут...*

Жесткие оковы евангельской событийности, из которой не вырваться, играют автору на пользу: Крюкова показывает нам тот или иной сюжет, и он тут же становится родным и близким – он произошел не у Марка или Матфея, а вчера, нет, сегодня, мы становимся современниками мифа. Миф перестает быть мифом и незаметно становится жизнью.

В то же время миф не перестает оставаться мифом – мифологическая торжественность, величие не убираются, они продолжают в том сиюминутном, что мы с вами имеем возможность наблюдать воочию:

*Раскинув руки, Он летел
Над пастью синей мглы,
И сотни омулевых тел
Под ним вились, светлы!*

Искрили жабры, плавники,

Все рыбье естество

*Вкруг отражения ноги
Натруженной Его!*

Вихрились волны, как ковыль!

Летела из-под ног

*Сибирских звезд эпитрахиль,
Свиваясь в клубок!*

*А Он вдоль по Байкалу шел
С улыбкой на устах.
Холицовый плащ Его, тяжел,
Весь рыбою пропах.*

*И вот ступил Он на карбас
Ногой в укусах ран.
И на Него тулуп тотчас
Накинул Иоанн.*

*– Поранил ноги Я об лед,
Но говорю Я вам:*

*Никто на свете не умрет,
Коль верит в это сам...*

Приближаются Страсти Христовы, и здесь Крюкова становится наиболее точна и подробна в выборе тематики, почти ничего не упуская из евангельского последования: «Тайная Вечеря», «Гефсиманский сад. Молитва Иисуса», «Поцелуй Иуды», «Терновый венец», «Отречение Петра», «Пилат выводит Иисуса народу», и, наконец, «Восшествие на Голгофу» и «Распятие» составляют необычную, как «государство в государстве Ватикан», книгу в книге. Эти зимние Страсти, в особенности «Восшествие на Голгофу», написаны по-брейгелевски широко и по-тарковски трагично (а как еще можно Страсти написать?) и обильно уснащены русскими реалиями, и здесь многоликая толпа, сопровождающая Иисуса на Лысую гору, оглушительно орет и жаждет посмотреть на Его казнь, – кипит людской котел, Крюкова любит этот прием, когда изображает народ – мелькают лица людей, руки, плечи, глаза, жесты, и в этом людском вареве основной герой, русский Христос, глядится воистину сгустком нездешнего света, как тому и должно быть:

*...А я, твою тянувший грудь,
тащу на шее Крест тесовый...
Так вот каков Голгофский путь! –*

*Мычат тяжелые коровы,
Бредут с кольцом в носу быки,*

*горит в снегу лошажься упряжь,
Бегут мальчишки и щенки,*

*и бабы обсуждают участь
Мою, – и войны идут,*

*во шрамах и рубцах, калеки,
Красавицы, что в Страшный Суд*

*сурьмою будут мазать веки, —
Цветнолоская толпа*

*середь России оголтелой:
Глазеть – хоть отроду слепа! –*

*как будут человекье тело
Пытать и мучить, и терзать,*

*совать под ребра крючья, пики...
Не плачь, не плачь, седая мать, –*

*их только раззадорят крики...
Солдат! Ты совесть потерял –*

*пошто ты плетью погоняешь?..
Я Крест несу. Я так устал.*

*А ты мне Солнце заслоняешь —
Вон, вон оно!.. И снег хрустит,*

поет под голою пятою!..

Евангельские темы – бусами мифологического ожерелья – автор тщательно перебирает и после Голгофы и Распятия, и каждый стих по-своему хорош, но, на мой взгляд, «Восшествие на Голгофу» – один из самых сильных и убедительных фрагментов цикла.

Мы ждем: чем же закончится эта гигантская стихотворная фреска после Голгофского пути и Распятия? Крюкова целомудренно не показывает нам самого момента Воскресения. Зато сюжеты, где воскресший Христос является Фоме Неверующему и ученикам в Эммаусе, а потом и возносится на небеса, присутствуют. И здесь автор снова делает акцент не на воскресшем Боге, а на Его народе, жадно глядящем с земли, как Он взлетает выше облаков, к звездам:

...Над рыжей дояркой,

*что лужгает семечки в грязь,
Над синим морозом, плетущим славянскую вязь
На окнах почтамов, столовых, театров, пивных,
Бань, паром пропахших,*

*больниц, как судеб ножевых... —
Над рабством рабочего,*

*смехом крестьянских детей,
Над синим морозом – а он год от года лютей,
Над синим морозом – байкальским, уральским, степным —
Летит наш Христос, лучезарный, сияющий дым,
Летит Человек, превращенный любовью во свет.
И все Ему жадно и горестно смотрят вослед.*

И все же – вот настоящий финал. Он, как ни странно, женский.

Почему странно? Вовсе нет: это русское Евангелие написала женщина, и сейчас она имеет полное право завершить это новое сказание от имени женщины, матери, Марии. Да не будет это понято воцерковленными людьми как кощунство. Тогда кощунством можно считать и сам непростой замысел художника.

Это снова жанр **видения** – здесь Богородица, выйдя звездной ночью на снег, прежде Иоанна Богослова и его грядущего Апокалипсиса видит Страшный Суд.

Страшный Суд – один из символов-знаков в творчестве Крюковой; она не раз вводит тематику Страшного Суда и в свои стихи, и в прозу (таков городской апокалипсис в романе «Зимняя война», таковы упоминания о Страшном Суде в больших поэтических циклах «Реквием конца века», «Овидиева тетрадь», «Литургия оглашенных»). Чем привлекает автора Откровение, в особенности – самые драматические его страницы, страницы катастрофы и гибели мира?

Эсхатология давно уже внедрена в культуру. Множество произведений искусства – и культовых, религиозных, и светских, секулярных – родились благодаря Апокалипсису. Появился даже постапокалипсис как литературный жанр (в современной фантастике). Но в «Русском Евангелии» Крюковой, на его финальных страницах, зимняя Богородица видит

не столько гибель мира, сколько его новое рождение, и признается в любви к нему, для нее вечному – в любви к своей метельной, нищей, снежной родине:

*О мой родной, любимый мой Простор!
Тебя я прямо в губы поцелую...
Твои пустые, синие снега.
Бочажины. Излучины. Протоки
Медвяные. Стальные берега.
Избу с багрянцем власти на флагиштоке.
Угрюмые заречные холмы.
Церквуху, что похожа на старуху.
Грудь впалую чахоточной зимы
И голубя – сиречь, Святого Духа —
На крыше сараюшки, где хранят
Велосипеды и в мешках – картошку!
И шаль прабабки – таборный наряд,
И серьги малахитовые... Кошку,
Залезищу в сугроб – рожать котят...
Целую все! Целую всех – навечно!*

*Лишь звезды дико в черноте горят,
Так грозно, страшно, так бесчеловечно... —*

*И звезды все целую! До конца,
До звездочки, пылинки света малой!
Все лица – до последнего лица,
Всю грязь, что из нутра земли возмала,
Всю чистоту, что рушится с небес
Прощальными родными голосами, —
Целую мир, пока он не исчез,
Пока его я оболью слезами!*

Вспоминается Александр Блок с его знаменитым: «Россия, нищая Россия, / Мне избы серые твои, / Твои мне песни ветровые – / Как слезы первые любви...» Да, это продолжение блоковской музыки – через века. Но Крюкова иная, и ее январский Апокалипсис иной. Для нее и ночное звездное небо, на которое она смотрит, задрала голову, – это опять храмовая стена, которую можно расписать еще одной фреской: чтобы издали было видно. Всем людям.

И, о чудо! – на самый последний вдох и выдох автор приберегает нам... колыбельную.

«Колыбельная Марии» – самые нежные и самые народные, избяные и лубяные, стихи у Крюковой. Да это, собственно, и не стихи даже, а просто песня, ее напевает мать сыну в колыбели – так замкнулся круг времен, история вернулась к Рождеству, за выдохом последовал вдох, с небес медленно, как во сне, идет снег, и мать просто нежно, тихо поет своему первенцу:

*...Подарил заморский царь
Тебе яшму и янтарь,
Сладкий рыжий апельсин,
Златокованный кувшин...
Спи, сынок,
спи-усни...*

*Заметет все наши дни...
Будем мы с тобой ходить,
Шубы беличьи носить,
Будем окуня ловить —
Во льду прорубь ломом бить...
Будешь добрый и большой,
С чистой, ясною душой...
Буду на тебя глядеть,
Тихо плакать и стареть...
Спи-спи...
Спи, сынок...
Путь заснеженный далек...*

* * *

Итак, «Реквием» отзвучал.

Эта музыка может стать вечной, если время постарается и не упустит своего – не упустит из виду автора, что задумал и смог, посягнул и не растерялся, – говоря крюковскими же словами (из «Хождения по водам» в «Русском Евангелии»): *«Он сделал, что хотел»*.

И, чтобы страницы рукописи не пожрал тлен времени, «Реквием» стал книгой, он выходит к людям, он звучит среди людей. Так, как Крюкова, пожалуй, сейчас не работает никто. Все пишут отдельные стихи – хорошо или не очень, гениально или бездарно. Крюкова пишет *книгу стихов*, стихотворную фреску, если хотите, стиховую симфонию, роман в стихах – со своей фабулой и сюжетикой, со своими тихими заводями и громоподобными кульминациями. Эта тяга к крупной форме у Крюковой никуда не исчезает. И это именно не поэмы, а полноценные книги; здесь можно найти одно стихотворение, воспринять его как чистую лирику и медитировать, его читая. А можно и охватить одним взглядом весь расписанный широкой кистью церковный купол.

Под этим незримым куполом Елена Крюкова живет и работает.

И кисть не падает из ее крепкой руки.

Нина Липатова

КНИГА ИСХОДА

Бег

Останови! – Замучились вконец:
Хватаем воздух ртом, ноздрями,
С поклажей, чадами, – где мать, а где отец,
Где панихидных свечек пламя, —

По суховеям, по метелям хищных рельс,
По тракту, колее, по шляху, —
Прощанья нет, ведь времени в обрез! —
И ни бесстрашия, ни страха, —

Бежим, бежим...
Истоптана страна!
Ее хребет проломлен сапогами.
И во хрустальном зале ожидания, где она,
Зареванная, спит, где под ногами —

Окурки, кошки, сироты, телег
Ремни, и чемоданы, и корзины, —
Кричу: останови, прерви сей Бег,
Перевяжи, рассекнув, пуповину!

Неужто не родимся никогда?!
Неужто – по заклатью ли, обету —
Одна осталась дикая беда:
Лететь, бежать, чадить по белу свету?!

Ползти ползком, и умирать ничком —
На стритах-авеню, куда бежали,
В морозной полночи меж Марсом и стожком,
Куда Макар телят гонял едва ли...

Беги, народ! Беги, покуда цел,
Покуда жив – за всей жратвою нищей,
За всеми песнями, что хрипло перепел
Под звездной люстрой барака и кладбища!

Беги – и в роддома и в детдома,
Хватай, пока не поздно, пацаняток,
Пока в безлюбье не скатил с ума,
Не выстыл весь – от маковки до пяток!

Кричу: останови!.. – Не удержать.

Лишь крылья кацавеек отлетают...
Беги, пока тебе дано бежать,
Пока следы поземка замечает.

И, прямо на меня, наперерез,
Скривясь на табло, как бы от боли,
Патлатая, баулы вперевес,
Малой – на локте, старший – при подоле,

Невидяще, задохнуто, темно,
Опаздывая, плача, проклиная...
Беги! Остановить не суждено.
До пропасти.
До счастья.
До края.

Юдифь и Олоферн

Дымы над крышей. Медная Луна,
Шатаясь, плачет надо мною...
О! Голова моя отягчена
Висящей бронзой, бахромою
Аквамаринов, серьги близко плеч
Мотаются, и шуба жжет мехами...
Я – воздух жгу, я – зарево, я – печь,
Я – пламя: меж румянами, духами...

Трамвайный блеск, парадов звон и чад,
Голодные театры лавок,
И рынки, где монетами гремят
И где лимон рублевый сладок,
Моста бензинного чугунный козий рог
Над ледокольной невестинной рекою,
А за рекой – чертог, что дикий стог,
Разметанный неистовой рукою...
Он весь в снегу горит. Там Олоферн
Пирует, ложкою неся икру из миски
Фарфоровой – ко рту, чернее скверн,
А тот, прислужник, кланяется низко...
А тот, лакейчик, – ишь, сломался он,
Гляди-ка, хрустнет льстивая хребтина!..

Ну что ж, народ. Ты погрузился в сон,
Тебе равно: веревка... гильотина...

Так. Я пойду. Под шубой – дедов меч.
В лицо мне ветер зимние монеты,
Слепя, швыряет. Сотней синих свеч
Над черепицей – звезды и планеты.
Не женщина, не воин и не зверь,
Я – резкий свет на острие дыханья.
Я знаю все. Вот так – ударю дверь.
Так – взором погружу во прозябанье
Телохраниителей. Так – локтем отведу
Ту стражу, что последняя, в покои...
Он спит, Тиран. Его губа в меду.
Ему во сне – изгнанники, изгои,
Кричащие близ дула и в петле...
Мне дымно. Душно. Меч я подымаю.
Мех наземь – с плеч! Ходил ты по земле.
Ты хочешь жить – я это понимаю,
Но над тобой, хрипя, я заносу
Всю боль, всю жизнь, где ниц мы упали!

И то не я возмездие вершу:
То звезды – бузиною по ножу —
Так обоюдоостро засверкали!

И пусть потом катится голова,
И – ор очнувшихся от спячки,
И я, как пасака зимой, мертва, —
А морды смердов, что жальчей подачки,
Грызут глазами, —
Кулаки несут,
Зажавши, сумасшедшие шандалы,
И рты визжат, – но я свершила суд,
Я над содеянным стояла —

Я, баба жалкая, – не целая страна, —
В сережках, даренных пустыми мужиками,
Юдифь безумная, – одна, совсем одна —
Пред густо населенными веками!
И, за волосы голову держа
Оскаленную – перед вами, псы и люди,
Я поняла, звездой в ночи дрожа,
Что все —
И повторится, и пребудет.

Норд-Ост

В этой гиблой земле, что подобна костру,
Разворошенному кочергою,
Я стою на тугом, на железном ветру,
Обнимающем Время нагое.

Ну же, здравствуй, рубаха наш парень Норд-Ост,
Наш трудяга, замотанный в доску,
Наш огонь, что глядит на повесть и погост
Аввакумом из хриплой повозки!

Наши лики ты ледяной клешнею цеплял,
Мономаховы шапки срывая.
Ты пешней ударял во дворец и в централ,
Дул пургой на излом каравая!

Нашу землю ты хладною дланью крестил.
Бинтовал все границы сквозные.
Ты вершины рубил.
Ты под корень косил!
Вот и выросли дети стальные.

Вот они – ферросплавы, титан и чугун,
Вот – торчащие ржавые колья...
Зри, Норд-Ост! Уж ни Сирин нам, ни Гамаюн
Не споют над любовью и болью —

Только ты, смертоносный, с прищуром, Восток,
Ты пируешь на сгибших равнинах —
Царь костлявый, в посту и молитве жесток,
Царь, копьё направляющий в сына,

Царь мой, Ветер Барачный, бедняк и батрак,
Лучезарные бэры несущий
На крылах! И рентгенами плавающий мрак!
И сосцы той волчицы сосущий,

Что не Ромула-Рема – голодных бичей
Из подземок на площади скинет...
Вой, Норд-Ост! Вой, наш Ветер – сиротский, ничей:
Это племя в безвестии сгинет!

Это племя себе уже мылит петлю,
Этот вихрь приговор завывает, —
Ветер, это конец!
Но тебя я – люблю,

Ибо я лишь тобою – живая!

Что видала я в мире? Да лихость одну.
А свободу – в кредит и в рассрочку.
И кудлатую шубу навстречь распахну.
И рвану кружевную сорочку.

И, нагая, стою на разбойном ветру,
На поющем секиру и славу, —
Я стою и не верю, что завтра умру:
Ведь Норд-Ост меня любит, шалаву!

Не спущусь я в бетонную вашу нору.
Не забьюсь за алтарное золото.
До конца, до венца —
на юру, на ветру,
Им поята,
на нем и распята.

Мать Мария

Выйду на площадь... Близ булочной – гам,
Толк воробьиный...
Скальпель поземки ведет по ногам,
Белую глиной
Липнет к подошвам... Кто *там?*.. Человек?..
Сгорбившись – в черном:
Траурный плат – до монашеских век,
Смотрит упорно...

Я узнаю тебя. О! Не в свечах,
Что зажигала,
И не в алмазных и скорбных стихах,
Что бормотала
Над умирающей дочерью, – не
В сытных обедах
Для бедноты, – не в посмертном огне —
Пеплом по следу
За крематорием лагерным, – Ты!..
Баба, живая...
Мать Мария, опричь красоты
Жизнь проживаю, —
Вот и сподобилась, вот я и зрю
Щек темных голод...
Что ж Ты пришла сюда, встречу январю,
В гибнущий город?..
Там, во Париже, на узкой Лурмель,
Запах картошки
Питерской, – а за иконой – метель —
Охтинской кошкой...
Там, в Равенсбрюке, где казнь – это быт,
Благость для тела, —
Варит рука и знаменье творит —
Делает дело...
Что же сюда Ты, в раскосый вертеп,
В склад магазинный,
Где вперемешку – смарагды, и хлеб,
И дух бензинный?!..
Где в ополовнике чистых небес —
Варево Ада:
Девки-колибри, торговец, что бес,
Стыдное стадо?!
Мать Мария, да то – Вавилон!
Все здесь прогнило
До сердцевины, до млечных пелен, —
Ты уловила?..

Ты угадала, куда Ты пришла
Из запределья —
Молимся в храме, где сырость и мгла,
В срамном приделе...

– Вижу, все вижу, родная моя.
Глотки да крикнут!
Очи да зрят!.. Но в ночи бытия
Обры изникнут.
Вижу, свидетельствую: то конец.
Одр деревянный.
Бражница мать. Доходяга отец.
Сын окаянный.
Музыка – волком бежит по степи,
Скалится дико...
Но говорю тебе: не разлюби
Горнего лика!
Мы, человеки, крутятся и мечась,
Тут умираем
Лишь для того, чтобы слякоть и грязь
Глянули – Раем!
Вертят богачки куничьи хвосты —
Дети приюта...
Мы умираем?.. Ох, дура же ты:
Лишь на минуточку!..
Я в небесах проживаю теперь.
Но, коли худо, —
Мне отворяется царская дверь
Света и чуда,
И я схожу во казарму, в тюрьму,
Во плащ-палатку,
Чтоб от любви, вперяясь во тьму,
Плакали сладко,
Чтобы, шепча: «Боже, грешных прости!..» —
Нежностью чтобы пронзаясь до кости,
Хлеб и монету
Бедным совали из потной горсти,
Горбясь по свету.

Варьете

Жемчужными ногами – из-под цветной копны!
Кругами да бегами! А хохоты слышны!
Несут питье густое и пряную еду...
Долой одежды – стоя!.. – дрожат на холоду!..

Девчонки вы, печенки, —
да с тыквами грудей, —
От ног крутых и тонких, мужик, похолодей!..
Музыка водопадом сдирает с кожи пот...
Танцуйте до упаду, – авось оно пройдет,

То Квазимодо-Время на глиняных ногах,
Что взял себе в беремя малец на костылях, —
А он плясать не может, он видел Гиндукуш...
Плесни мускатом в рожи, канкана красный туш!

Слизни-ка соль, красotka, с воздернутой губы...
Пляши – швырнули б сотку из гула гольтьбы!
Да только те бояре, сощурясь, зрят канкан,
Да будто на пожаре, толкают в пасть банан...

Танцуй, танцуй, Галина!.. А Сонька, ты чего?..
А скулы как малина! А в бисере чело!..
Колготки рвутся с хрустом, на зраках пелена —
Веселое искусство,
Веселая страна!

Веселые девахи, до тайников мокры, —
Танцуйте вы на плахе, танцуйте до поры:
Сей танец – не работа, сей грозный карнавал
Вас до седьмого пота за гроши убивал!

Целованы – по пьяни,
в исподнем – из больниц,
Танцуйте, Кира, Кланы, в виду кабаньих лиц!..
У попугаев ара наряды не пестрей...
Оттанцевать – до жара...
и в «скорую» – скорей...

А трубы – нету сладу!.. Табачный воздух рвут!..
Танцуйте до упаду – авось они пройдут,
Краснознаменны годы, казарменны гудки,
Фланговые народы с дрожанием руки...

Там будут псы и кошки и каждый – сыт и пьян...

Танцуйте, длинноножки,
для них блатной канкан!
В роскошестве погибнем
да в пиршестве померем,
А все же спину выгнем
и рому отхлебнем!

И выбежим! И спляшем – во вьюгах площадей,
Среди кремлевских башен,
среди родных людей —
И спереди, и сзади – все в лентах и цветах! —
Краснознаменны... крали —
Любашки, Верки, Нади —
Задрогнув, при параде,
С улыбкой на устах.

Встреча Марии с Елизаветой

Навстречу друг другу
Две женщины шли.
Мария – во вьюге —
Круглее Земли.

И Елизавета
Кругла, что копна...
– Ох, Машка!.. Планета...
– Ох, Лизка!.. Луна...

Им вызвездил иней
У рта – лисий мех...
– Ну, Машка!.. А скинешь?..
– Ну, Лизка!.. – И смех...

Мария погладит
Товаркин живот:
– Ну, ты не в накладе?..
– Умножу народ!..

И, тяжело брюхаты,
Морозы вдохнут:
– Хоша б не солдаты...
– Мальцов – заберут!..

И очи младые
Струят слезный свет.
– Ты плачешь, Мария?..
– Нет, Лизонька... нет...

На пальце сверкает
Златое кольцо.
Из тьмы возникает
Родное лицо.

И слезы Марии
Летят на живот —
То снеги косые,
Беззвучный полет,

То ветры косые,
Косые дожди...
– Ты плачешь, Мария!..
– Лизок... погоди...

И так вынимает
Тряпичный комок,
И лик утирает
Соленый платок!

Худые рекламы.
Да счастье – займы.
О, мертвые сраму
Не имут!.. А мы?!..

А Елизавета —
Вся шепот и всхлип:
– Мой... тоже там где-то...
Мой – без вести сиб...

Анкор, еще анкор!..

В табачной пещере, где дым, как щегол,
Порхает по темным закутам,
Где форточка, будто Великий Могол,
Сощурилась мерзлым салютом,

Где добрая сотня бутылей пустых
В рост, как на плацу, подровнялась... —
О, сколько штрафных этих рюмок шальных
За мощным столом подымалось!.. —

Где масляных, винных ли пятен не счесть
На драной когтями обивке, —
В каморе, где жизнь наша – как она есть,
Не сахар, не взбитые сливки, —

Один, человек на диване лежал,
На ложе в ежовых пружинах,
Тощой, востроносый, – ну чисто кинжал —
Махни, и вонзается в спину...

Он пьян был в дымину. Колодою карт
Конверты пред ним раскидались...
Он выжил в слепом транспортере – то фарт!
И пули за ним не угнались...

Да только от воплей на минных плато,
От крика тех танков горящих
Он нынче в постель надевает пальто
И мерзнет! – теперь, в настоящем...

Ничем не согреться. Хлестай не хлестай
Подкрашенную хной отраву...
Яичница стынет. Полночный наш Рай.
Ад прожит: красиво, на славу...

Зазубрины люстры... Свечи мыший хвост...
И Жучка – комок рыжемордый...
Взы, Жучка!.. Ну, прыгай – и в небо до звезд,
И в петлю: дворняги не горды!..

Ах, дворничиха, ах, дворянка моя,
Ну, прыгай же ты... через палку —
Свеча догорает... а в кипе белья —
Скелет, что пора бы... на свалку...

Еще, моя Жучка!.. Анкор... эй, анкор!..
Вот так-то, смиряйся, зверюга,
Как мы, когда – из автомата – в упор,
Пред телом веселого друга,

Под глазом приказа, в вонючем плену,
Во почте, где очи... не чают...
Полай ты, собака, повой на Луну —
Авось нам с тобой полегчает...

Ну, прыгай!.. Анкор, моя моська!.. Анкор!..
Заврались мы, нас ли заврали —
Плевать!.. Но в груди все хрипит дивный хор —
О том, как мы там умирали!

Как слезно сверкает в лучах Гиндукуш!..
Как спиртом я кровь заливаю...
Анкор, моя шавка!.. Наградю – куш:
Кость белая, кус каравая...

Мы все проигрались.
Мы вышли в расход.
Свеча прогорела до плоски.
И, ежели встану и крикну: «Вперед!..» —
За мной – лишь собаки да кошки...

Что, Армия, выкуси боль и позор!
А сколь огольцов там, в казармах...
Анкор, моя жизнь гулевая,
анкор,
Мой грязный щенок лучезарный.

Юродивая

Ох, да возьму черпак, по головушке – бряк!..
Ох, да справа – черный флаг,
слева – Андреевский флаг...
А клубничным умоюсь, а брусничным – утрюсь:
Ох ты флажная, сермяжная, продажная Русь!..
Эк, тебя затоптал закордонный петух!
Песнопевец твой глух, и гуслиар твой глух:
Че бренчите хмурь в переходах метро?..
Дай-кось мужнино мне, изможденно ребро —
Я обратно в него – супротив Писанья! – взойду:
Утомилася жить на крутом холоду!..

«Лягу на пузо. Землю целую...»

Лягу на пузо. Землю целую.
Землю целую и ем.
Так я люблю ее – напропалую.
Пальцами. Звездами. Всем.

Дай мне билетик!..
Дай мне талончик!..
Я погадаю на нем:
Жить нам без хлеба, без оболочек,
Грозным гореть огнем.

Рот мой сияет – ох, белозубо!
Жмурюсь и вижу: скелет
Рыбий, и водкою пахнут губы,
И в кобуре – пистолет...

Вот оно, зри – грядущее наше:
Выстрелы – в спину, грудь,
Площадь – полная крови чаша,
С коей нам пену сдуть.

«...Эй-эй, пацан лохматенький...»

...Эй-эй, пацан лохматенький,
тя за штанину – цап!
В каких ты кинах видывал
грудастых голых баб?!

Да, змеями, да, жалами, огнями заплетясь,
Из вас никто не шупывал
нагой хребтиной – грязь!
Из вас никто не леживал в сугробном серебре,
Из вас никто не видывал, как пляшет на ребре,
На животе сияющем – поземка-сволота!..
А это я с возлюбленным – коломенска верста —
Лежу под пылкой вывеской
харчевни для господ —
Эх, братья мои нищие! Потешим-ка народ!
Разденемся – увалимся – и вот оно, кино:
Куржак, мороз на Сретенье,
мы красны как вино,
М голые, мы босые – гляди, народ, гляди,
Как плачу я, блаженная, у друга на груди,
Как сладко нам, юродивым,
друг друга обнимать,
Как горько нам, юродивым,
вас, мудрых, понимать...

«Вижу Ночь. Лед...»

Вижу Ночь. Лед.
Вижу: Конь Блед.
Вижу: грядет Народ —
Не Плоть, а Скелет.

Вижу: Смел Смог.
Вижу: Огнь Наг.
Вижу:
Человекобог —
Бурят, Грузин, Каряк.

Вижу: Радость – Дым...
Вижу: Ненависть – Дом!
Вижу: Счастье... Над Ним —
Огонь! И за Ним! И в Нем!

Вижу: Разрывы. Смерть.
Слышу: Рвется Нить!
Чую: нам не посметь
Это
Остановить.

«Чучелко мое смоляное, любименький, жавороночек...»

Чучелко мое смоляное, любименький, жавороночек...
Площадь – срез хурмы под Солнцем!
А я из вьюги, ровно из пеленочек —
На свет Божий прыг!.. А Блаженный-то Васенька
Подарил мне – ревнуй, сопляк! —
 вьюжные варезки:
Их напялила – вот ладошки-то и горячие,
А глаза от Солнца круто жмурю,
 ибо у меня слезы – зрячие...

Воля вольная,
Расеюшка хлебосольная —
Черный грузовик во след шины
Пирожок казенный скинул —
Дай, дай полакомлюсь!..
Милость Божья
На бездорожья...
Не обидь меня, не обидь:
Дай есть, дай пить,
А я тебя люблю и так —
Ни за грош ни за пятак —
Дай, дай поцелуйную копеечку...
Не продешеви...
Дай – от сердца деревянного...
 от железной любви...
Черный грузовик, езжай тише!
Пирожки твои вкусны...
Я меховая богатейка!
Я все дерьмо на копеечку скупила!
Я все золотое счастье забыла,
Я широко крестила
Черное поле
Грядущей войны.

Дай, дай угрызть!..
Жизнь... ох, вкусно...

На. Возьми. Подавись. Мне в ней не корысть.

«...Лоб мой чистый...»

...Лоб мой чистый,
 дух мой сильный —

Я вас, люди, всех люблю.
Купол неба мощно-синий
Я вам, люди, подарю.

Вам дитя отдам в подарок.
Вам любимого отдам.
Пусть идет огонь пожара
Волком – по моим следам.

Заночую во сугробе.
Закручу любовь во рву!
В колыбели – и во гробе —
Я – войну – переживу.

И, космата, под вагоном
Продавая плоть свою,
Крикну мертвым миллионам:
Дураки! я вас люблю...

Вы себя поубивали...
Перегрызли... пережгли...
Как кричала – не слышали! —
Я – о бешеной любви!..

Но и в самой язве боли,
В передсмертнейшем хмелю,
Я хриплю: услышь мя... что ли...
Кто живой... тебя – люблю...

Дух белого офицера взирает на Россию нынешнюю

Земля моя! Встань предо мною во фронт.
Кинь тачки свои и тележки.
Ладони холеные враз не сотрут
Невольничьей острой усмешки.

Дай гляну в сведенное мразом лицо:
Морщинами – топи да копи
Да тьма рудников, где мерзлотным кольцом —
Посмертные свадьбы холопы.

Россия моя! Меня выстрел сразил,
Шатнулся мой конь подо мною,
И крест золотой меж ключиц засквозил
Степную звездой ледяною...

И я перед тем, как душе отлететь,
Увидел тебя, Голубица:
В лазури – церковей твоих нежную медь,
Березы в снегу, как Жар-птицы!

Увидел мою золотую жену,
Что пулями изрешетили,
Узрел – из поднебесья – чудо-страну,
Что мы так по-детски любили!

Узрел – домны, баржи и грузовики,
Цеха, трактора да литейки:
Народ мой, страданья твои велики,
Да сбросить вериги посмей-ка!

Тебя обло чудище в клещи взяло —
И давит суставы до хруста...
И дух отлетел мой.
И Солнце взошло.
И было мне горько и пусто.

За веру, за Родину и за Царя
Лежал я в январской метели,
И кочетом рыжим горела заря
Над лесом, лиловее Гжели!

А я полетел над огромной землей —
Над Лондоном, Сеною, Фриско...
Но вышел мне срок! Захотел я домой!..
И вновь заискрились так близко

Увалы, отроги, поля во грязи...
Вот – вымерший хутор: два дома
Во яхонтах льдов – слез застылых Руси...
Вот – в церкви – пивнушка... О, Боже, спаси:
Знакомо все – и незнакомо!

Детишки молитвы не знают... и так
Отборным словцом щеголяют...
Гляди же, душа, мой испланный зрак,
На брата-ефрейтора, что, нищ и наг,
В миру с котомой костыляет!

На девок панельных. На хлестких купцов.
На жирных владык в лимузинах.
На черных чернобыльских вдов и вдовцов.
В ночлежный декор магазинов.

Не плачь, о душа моя, твердо гляди
На храм, что сожгли сельсоветы, —
Теперь над ним чистые стонут дожди,
В ночи – светляками – кометы...

Гляди – вот под ветрами трактор гниет...
Раскопы пурга обнимает...
Гляди, о душа, – твой великий народ
Без Бога живот свой умает!

Кто это содеял?! К ответу – кого?!..
Я всех назову поименно.
Я шашки и сабли рвану наголо —
За Ад наш трехсотмиллионный!

В толпе Вавилонской сплелись языки,
Ослабились древние крови —
Гляди же, душа, с межпланетной тоски,
Как дула здесь наизготове!

Ах, долго гремел репродуктор в пурге,
Трепались в ночи транспаранты —
Намаслен уж ствол, и винтовка – к ноге! —
Опричники, тля, оккупанты...

Так! Все, что здесь было, – великая ложь!
Но, Боже! Я верую в чудо
Твое! Я люблю тебя! Ты не умрешь,
Красавица, кляча, паскуда,

Век целый тащившая проклятый воз,

Блудница, царица, святая, —
И я, офицер, зревший кровь и навоз,
Скитавшийся между блистающих звезд,
Мальчонкой – к буранам седеющих кос,
К иссохлой груди припадаю.

Девочка с мандарином. Вечерний рынок

Это крайняя – я – за лимоном стояла!..

Вот глаза ледяные – синее Байкала,
Косы из-под платка, что рыбачьи канаты,
И все швы на дерюге пальтишка разъяты;
Кочерыжка, горбушка, птенец, восьмилетка, —
Поднабита людьми рынка ржавая клетка,
Все со службы – час пик! —
 каблуки не источишь,
А туда же! – стоишь: мандаринчика хочешь...
И распахнуты синие очи иконно
На купюры, на смерч голубей законных,
На торговку золотой мандаринной горою,
На лица ее булку,
на море людское!
В кулачонке вспотевшем зажаты копейки...
Ты, проталина вешняя, дудка-жалейка,
Заплати – и возьми! Тонкокорый, громадный
Охряной мандарин – и сожми его жадно,
Так зажми в кулаке, чтобы кровь стала капать,
Чтобы смог сладкий плод на морозе заплакать —
По тебе, истопницына дочь, замухрышка,
Сталеварного града сухая коврижка.

Торговка шкурами на Иркутском рынке Люба

А вот лисы, а вот лисы, а вот зайцы-волки!..
Мездру мороз прошивает кованой иголкой,
Меха иней зацелует сизыми губами, —
Не горжетка то – ослеп ты: пламя это, пламя!..
Звери рыскали по лесу. Дитяток рожали.
Целясь, очи потемнели! Локти задрожали!..
...А теперь зверье – гляди-ко! —
рухлядь, красотища!..
Закупи – и вспыхнешь павой,
а не мышью нищей,
Шею закрути лебяжью лисьими хвостами —
Пусть мужик твой, жмот и заяц,
затрясет перстами,
Затрусит на снег монеты из мошны советской:
Вот он мех колымский, кольский,
обский, соловецкий,
Вот – куничий да соболий, *искрист*ый, богатый,
На руках торговки Любы во пурге распятый, —
Рвите, рвите, налетайте, по дешевке сбуду
Выпивохам да пройдохам, черни, сброду, люду,
А не наглым иноземцам с масляным карманом,
А родной толпе дремучей,
хвойной, дымной, рваной.

Песня

Ох, Расея моя, Расея.
Головою – о край стола...
Каменя, горя, леденя,
О, куда б от тебя ушла?!

Горевая твоя простуда
И чахоткин, с подхрипом, рык...
Средь зверья твоего и люда
Расплескался мой жалкий крик.

Задери головушку: страшно!..
Коли страшно – к земле пригнись...
Вот они, кремлевские башни, —
Им, кровавым, да поклонись.

Ты из вервия мне свивала
Сети, петли, мешки, хлысты...
Ты поземками целовала
По-над грудью моей – кресты!

Но я землю рвала ногтями!
Ела пададь твоих полей!
Снег твой мечется меж горстями
Сирым клеткотом журавлей!

И, на нежном пригорке стоя
По-над Волгою в синем дыму,
Я молюсь – твоей красотой —
За вкусивших твою тюрьму!

За тебя проклявших, бежавших
Во заморских быков стада,
За любимых, друг друга сжавших
Пред прощанием – навсегда, —

Как в горсти – да твою землицу...
Я люблю тебя, я люблю:
Мне любовь та, Расеюшка, снится,
Но плюю, хриплю – во хмелю

Ненавидящем,
пламя сея
Воплем, дланью, нутром, очьми:
Ох, Расея моя, Расея,
Заполярной совой косея,

Всей кандалною Гипербореей —
Всю свободу мою возьми.

Адам и Ева

Звезды дули в пазы и во щели.
Звезды жестко крестили окно.
Смертный одр не страшной колыбели,
Но царями любовной постели
Стать не всем в дольном мире дано.

И в династии сей ты двадцатый
Или первый – не ведать о том!
Вот на лбу – поцелуйная цата,
Вот лобзанье – нательным крестом...

Тело вспыхнет вулканами, лавой.
Сладко выгнется плод – ешь и пей!
Над кроватью дешевой, ржавой —
Веер простоволосых лучей!

Допотопная, дикая сила,
Ласка, будто лисенка... – до слез... —
Та коса, что века нас косила
Вплоть до лунных старушечьих кос, —

Это чрево ли Евы пылает,
Это дух ли Адама горит —
Это Марс над постелью рыдает
И Венера объятие длит!

Вширь – по стеклам – хвощи ледяные...
Митинговый – на улице – гул...
И ругательства хана Батыя
Из-за двери, что бомж распахнул...

И, распяты, раскинувши длани,
Разметав медногорлую плоть,
Понимают: любви окаянной
Нет в земле, кою проклял Господь.

Омулевая рыбачка Зинаида

Я приду к тебе. Руки твои красны.
Веки от култука и слез тяжелы.
Мне всю жизнь приходили дикие сны
Из таежной мглы, ледовитой мглы:
Круглоболой кадушкой кренится карбас.
На Полярной звезде стрекоза висит!
И Луны слепой великаний глаз
Прямо в бабье сердце мое косит.

Тянем сети мы. Ты – смугла, стара.
На руках моих сильных – жил синих сеть.
Тянем омуля мы – всю ночь, до утра:
Тяжело: впору лечь и враз помереть.

Как играют мощные рыбы тела —
Древней яростью,
Тусклым серебром купцов,
Не хотят под нож – а наша взяла,
А култук первобытный свистит, свинцов!

Зинаида! Вот омуля засолим!..
...Руки мерзлые жадно вцепились в сеть.
Наш карбас молитвой Зины храним.
Не потонем. Будем жить и стареть.

Я – в объятых дрожать, огольцов рожать,
Да всей кожей чуют: Конец грядет!..
Ты – в руках заскорузлых свечу держать
Над серебряной рыбой
Во хлябях вод.

Витрина

...Целуй же лопатками серый тот дом!..
Втирайся, вжимайся шубенкой!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.